

**Собеседник**

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович

Ведущий

Зубец Ольга Прокофьевна

Дата записи

Беседа записана 22 апреля 2013 и опубликована 14 января 2014.

Введение

В первой беседе ученый рассказывает о детстве в лезгинском ауле Алкадар, своем двоюродном деде Гасане Алкадари — одном из крупнейших просветителей дореволюционного Дагестана; переезде в Москву и учебе в МГУ, работе над диссертацией, в которой разрабатывалась идея происхождения нравственности в процессе обособления индивида от первобытной общины, противоречащая принятой в тот момент трудовой теории происхождения нравственности. Ученый вспоминает свою стажировку в Германии, в ходе которой начал разрабатывать тему золотого правила нравственности, и научную работу на кафедре этики философского факультета МГУ. Беседа в рамках совместной исследовательской программы Института философии и Фонда «Устная история».

Ольга Прокофьевна Зубец: Абдусалам Абдулкеримович, сегодня утром я наткнулась на фразу одного немецкого филолога, который написал, что «кажется, что все величайшие мужи Эллады и Рима представлены Плутархом в смотре героев», как он пишет. А на самом деле это произошло потому, что он описал этих людей и именно благодаря ему они привлекли к себе интерес потомства. Может быть, те беседы, записи, которые сейчас проводятся, может быть, они такую же роль сыграют, неизвестно. Сначала мне хотелось бы расспросить вас о биографии: о рождении, о семье. Хотя, конечно, тоже нет такой уверенности, что при беседе с философом и когда стоит задача понять, что есть философия в публичном пространстве и что есть философствование, — разговоры о жизни, биографии оказывают какую-то поддержку и помощь. По той причине, что, например, известно, что Хайдеггер, эта его известная фраза, многие ее упоминают, в том числе Арендт, когда ему сказали, что надо, если мы обращаемся к Аристотелю, начинать с биографии, он сказал: «Аристотель родился, жил и умер. А теперь перейдем к его текстам». Такое отношение к биографии философа, наверное, на что-то указывает существенное. Не знаю, как вы отнесетесь к этому. Во всяком случае, я, например, столкнулась с таким тезисом Хайдеггера, то есть не Хайдеггера, а тех, кто писал о Хайдеггере, например Бибихина, что когда мы смотрим не на те вещи, к которым философ двигался, а начинаем смотреть на его личность, то мы уже не с ним, мы покидаем его именно тогда, когда смотрим на него. И даже когда философ на самого себя смотрит, рассказывая о себе, тут тоже есть такой момент, что он как бы уже не в движении своей мысли находится, а смотрит на себя со стороны. Есть еще такой тезис у Бибихина: совершенно ясно, что когда биограф разговаривает, например с математиком, понятно, что он совершенно не движется в сторону понимания математики, и что с философией ситуация примерно такая же. Это кажется, что обращаясь, скажем, к биографии философа, мы движемся к его идеям, а на самом деле, может быть, это движение столь же малопродуктивно, как и движение к математическим идеям, если мы говорим о жизни математика. Не будучи уверена в содержательности таких вопросов, я, тем не менее, вам их хотела бы задать. Не могли бы вы рассказать о начальном этапе своей жизни, скажем, как это вам видится.

Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов: Я так понимаю, что вы предлагаете, прежде чем начать разговор, подумать о смысле этого разговора, то есть о самом действии, которое предстоит.

О.З.: Да-да.

А.Г.: Я думаю, что это вполне разумно. Но если даже не соглашаться с тем автором, который утверждал, что не потому Плутарх описал великих людей, что они были великими, а напротив, они стали великими, потому что их описал Плутарх. Все равно в этом утверждении есть большая доля истины, потому что описание жизни человека, это, конечно, какой-то образ этой жизни, какая-то версия этой жизни, какое-то изображение этой жизни, но никак не сама эта жизнь. Скажем, мы будем с вами говорить о моей биографии, о каких-то событиях, свидетелем и участником которых я был, и пусть это, скажем, продлится не два-три часа, как с академиком Лекторским, по несколько раз. Но тем не менее это будет ведь ограниченное количество времени, ничтожная малая доля времени по сравнению со всей жизнью, которая растянулась уже на много десятков лет. И мы при этом руководствуемся тем, что схватила наша память, что удержала наша память. Если даже допустить, что мы в разговоре не проводим селекцию того, что есть в памяти, а берем только то, что там закрепилось, это все равно какой-то, я бы сказал, не то что искаженный образ того, о чем мы говорим, но именно какая-то версия, может быть приукрашенная, святочная, которая уже просто по определению не может не быть искаженной. Что касается того, в какой мере личность человека связана с тем, что он делает, с его философией, такое ли здесь отношение, как в случае математики, что говоря о человеке, мы никак не проникнем, так сказать, в его математические рассуждения. Что касается философа — не знаю, я думаю, что это так отчасти. Но если мы возьмем вопрос, почему кто-то, скажем, обратился к философии, стал философом, а не стал тем же математиком, физиком или кем-то еще, и почему он в философии заинтересовался этими проблемами, а не другими, то без апелляции к личностным вещам, к душевным потребностям человека, мне кажется, это невозможно. И здесь связь между личностью философа и самой философией — она, я думаю, несколько иная, чем в случае других профессий и занятий. Я согласен с Бибихиным в том, что ни в коем случае нельзя из личности, биографии философа — так, как она запечатлелась в тех или иных эпизодах, как он ругался или не ругался со своими учениками, как он вел себя в семье,

как складывалась его университетская или иная академическая карьера, — исходя из этого ничего нельзя понять о его текстах, его философии. И когда мы обращаемся к его текстам, его философии, мы его биографию — в таком событийном виде — должны забыть. Но я думаю, что при этом как раз и сами философские работы говорят о личности философа, может быть, больше и лучше, чем эти внешние факты, понимаете? И когда Хайдеггер говорил: «Аристотель родился, жил и умер», — он и хотел сказать, что если вы хотите узнать об Аристотеле как о философе, то вы должны обратиться не к его жене, сыну, отцу или еще кому-то, а вы должны обратиться к его произведениям. Поэтому здесь какие-то вещи и разграничения более тонки. Но, например, Бибахин, мы знаем, одна из его последних работ — «Введение в философию права». Он написал «Введение в философию права», но, насколько я знаю, и как он мне сам говорил, каким-то образом эта работа связана с его опытом, он прошел через юридическую процедуру, через суд, когда у него как у водителя случился какой-то инцидент, и этот инцидент рассматривался в суде, и он тщательно, вполне детально прошел всю эту процедуру и у него был личный толчок для размышлений об этом. И, конечно, этот личный опыт никак не может помочь пониманию его произведения, но зато его произведение может помочь понять саму личность автора Бибахина в том, что касается его понимания права, правды жизни. То есть это, в общем, вещи более тонкие, чем может показаться на первый взгляд.

” И вообще, должен сказать, это одна из наших особенностей: когда мы рассуждаем о человеке, и вообще о гуманитарных проблемах, мы часто рассуждаем очень обобщенно и грубо, значительно более обобщенно и грубо чем тогда, когда мы имеем дело с какой-то предметной сферой.

А на самом деле эти сферы, они тоже, в общем, достаточно тонкие. Но Аристотель, Хайдеггер, Ханна Арендт, даже Бибахин — это философы, люди, которые занимают свое место в истории мысли. Когда же речь идет о нас, уж, по крайней мере, я могу сказать о себе, — мы имеем, конечно, какое-то отношение к философии, я занимаюсь философией, я профессор философии, научный сотрудник, но, мне кажется, в этих параметрах и нужно на меня со стороны смотреть, и сам я тоже должен мыслить в этих параметрах. Если хоть в чем-то мое осмысление моей собственной жизни может быть соотнесено с общими рассуждениями о том, как личность философа связана с его философией, то я могу сказать только одно: что я себя — так, как складывалась моя жизнь, когда я пошел на философский факультет, учился, дальше занимался философией, — никак не могу отделить от того, что происходило, то есть я никак не могу на это посмотреть со стороны. И, честно признаться, даже если бы меня спросили, как случилось это, а не то, как ты пошел на факультет, как ты на факультете это выбрал, а не то выбрал, и как потом, скажем, складывалась твоя жизнь. Я бы сказал, что да, она так складывалась, то есть здесь нет такой линии, как если бы я заранее стремился к какой-то цели и, следовательно, мог фиксировать, что я достиг эту цель. Вот я себе представляю, скажем, спортсмена, который включился в спортивную жизнь и участвует в соревнованиях, он получает медали, еще что-то, и он, наверное, каждый раз может зафиксировать свои достижения, он стал чемпионом, попал на Олимпийские игры, выиграл, еще что-то. То есть сама жизнь у него организована как некая задача, некая цель, которую он преследует, и поэтому, может быть, он может свои воспоминания более четко организовать. А я про свою жизнь не могу сказать, что она именно складывалась так, что я стремился к какой-то цели. Поэтому, между прочим, и мои воспоминания носят характер спорадический, случайный — то есть то, что запомнилось. А почему это запомнилось, а не другое? Я не могу сказать. Конечно, какие-то вещи есть совершенно достоверные, например, в моей биографии нет непонятных вещей, точно известно, что я родился в такое время, в таком месте, у таких родителей, родился в ауле, который много сот лет стоял на этом месте.

О.З.: В Алкадаре.

А.Г.: В Алкадаре. У моего отца был свой отец, у деда Гусейнова был тоже свой отец, у того тоже был отец, и все это мы хорошо знаем, я знаю могилы этих людей. То есть в этом смысле все достоверно. Вся эта

семья, во многих поколениях это были люди, которые не принадлежали к аристократическим сословиям, хотя вообще эта сословность в Дагестане была слабо выражена, там больше люди вели вольную жизнь, то есть люди имели какой-то самостоятельный статус. Но тем не менее были феодальные сословия, мои предки не имели такого происхождения, но это были люди, которые всегда были связаны с образованием, с просвещением, с духовной деятельностью. Мой прадед основал в деревне школу, которая носила если не светский, то, по крайней мере, полу-светский характер, это было в конце 30-х годов XIX века. Уже в этой школе мой дед и потом мой отец получали образование. Отец мой тоже был учитель, сельский учитель, он был учитель родного языка — лезгинского языка. В советские годы был такой порядок, в автономных республиках, каким был Дагестан, в начальных школах все обучение было на родном языке, а русский язык был отдельными уроками, а потом обучение было на русском языке, а лезгинский язык — это был отдельный урок. Отец преподавал родной язык, это произошло, потому что он еще до революции получил духовное образование, и революция, которая была в 19-м году, — советская власть пришла в Дагестан в 19-м году, отцу уже было тридцать пять лет. И естественно, продолжать свою деятельность в рамках образования, которое получил, он не мог. Это было, так скажем, мусульманско-ориентированное образование: арабский язык, персидский язык и коранические науки, — вот он стал преподавать родной язык.

Мама у меня была безграмотная, она так и осталась безграмотной, в буквальном смысле слова, то есть она не умела ни читать, ни писать. Я родился в этой семье, из живых пятерых выросших детей в семье я был самый средний. Это было, конечно, очень интересно.

” Аул, так сказать, был совершенно изолирован от мира, совершенно обособлен от мира, там не было никаких связей с внешним миром, не было почты, электричества, радио — ничего не было. Стоял он на высоком пригорке, и связь осуществлялась чисто так, когда случайно кто-нибудь появлялся.

Я помню, как дядя по материнской линии приехал с фронта с медалями на груди, вот это запомнилось, когда приезжали иногда в гости люди, которые живут где-то в районе, в городе, по-городскому одетые, на них всегда было интересно посмотреть. Ну, конечно, быт, в котором мы росли, — трудно назвать его даже спартанским, там вообще не было быта в нашем смысле слова. Не то что горячей воды — вообще воды не было, за водой надо было идти куда-то далеко, спускаться к роднику, быта в смысле каких-то удобств, ничего этого не было. Материальный достаток был на уровне выживаемости. Правда, семья учителя в этом отношении пользовалась огромным преимуществом, потому что папа получал зарплату, а колхозники никаких денег не имели, они жили только на трудодни, а трудодни — это вообще сказать — никто не поверит. Скажем, максимум у человека хорошо работающего могло быть пятьсот трудодней в год, а чем отоваривались эти трудодни — они могли получать двести грамм пшеницы на этот трудодень. Вот и считайте. То есть жили подсобным хозяйством.

О.З.: И вы там работали, в этом подсобном хозяйстве?

А.Г.: Мы, во-первых, даже летом обязательно собирали колоски, это вообще было принято, и октябрята, пионеры. А потом, что значит работали? Вот когда говорят, что детство — это особый феномен, который возникает на определенном этапе культуры, это абсолютно правильно. У нас, например, детства в собственном смысле — как «детства» — не было, то есть не было игрушек, которые бы нас отделяли от взрослых, не было особой организации жизни, ничего подобного. Мы прямо с детства были включены в общий поток жизни, то мы дрова принесем, то пойдем пропалывать — мы в огороде все время пропалывали.



Я до сих пор как одно из самых неприятных занятий в жизни вспоминаю, как мы должны были просматривать листья капусты с тем, чтобы там этих червячков, гусениц найти, чтобы их освободить. Это же надо было каждый лист смотреть, на корточках. Редкие у меня в жизни остались впечатления, которые даже при воспоминании создают плохое настроение.

Но вот это, значит, было. И мы были втянуты в этот процесс. Маленький, я помню, я гусей пас. То есть таких проблем, которые возникают в семье: шалит ребенок или не слушается — вообще так вопрос не стоял и вставать не мог. Еще я что хочу сказать. При этом никогда у меня не возникало впечатление, не осталось никакого воспоминания, что это что-то ужасное, что это какое-то плохое состояние, из которого надо выйти, что вот потом что-то случится, и мне будет лучше и т. д. Осознания того, что это есть какой-то недостаток, что-то такое, что нужно преодолеть, или что-то такое, что является источником отрицательных переживаний, у меня не было. И сейчас, когда я вспоминаю, смотрю чисто объективно, все эти вещи сопоставляю с тем, что было у меня позже, когда я в городе в Дагестане учился и тем более когда приехал в Москву, — это земля и небо. Это действительно большая разница, как между первобытным состоянием и современным состоянием потребительского изобилия. Но при этом, опять-таки, я не вспоминаю то состояние, что: как это могло быть, какой это был ужас или как мне не повезло. Ничего подобного. То есть с точки зрения, я бы так сказал, моего психологического отношения к условиям жизни, в которых мне пришлось быть, раннее детство с тем не то чтобы суровым бытом — может, с его отсутствием, — с точки зрения психологического отношения, оно не отличается от моего отношения, скажем, позже или сейчас.

О.З.: Вы сказали, что ваш предок организовал школу в селе. Насколько я знаю, ваши предки и ваша семья сыграли очень большую роль в просвещении и вообще в истории лезгинского народа. И они, в общем, одни из центральных фигур для национального самосознания, для формирования культуры.

А.Г.: Ну, каждый своих предков всегда восхваляет. Конечно, мои предки, но прежде всего мой двоюродный дед Гасан Алкадари был очень видной фигурой, именно выдающимся просветителем. Сыграл огромную роль в интеллектуальном и нравственном развитии народа, его самосознания. Его знают, думаю, если не все лезгины, то подавляющее большинство. Для большинства лезгин имя Гасан Алкадари это, в общем, знаковое имя. Недавно у нас в селе открыли его музей. Это едва ли не единственный такой музей у нас среди лезгин. А нет, второй еще есть музей, посвященный Сулейману Стальскому, еще в советские годы открытый. И вот этот музей Гасану Алкадари. В советские годы, я бы так сказал, о нем молчали. Не было акцентированного отвержения его имени. Ситуация изменилась в начале 50-х годов — уже, так сказать, стали его изучать. В 20-е годы была издана и на русский язык переведена его книга «Асари-Дагестан», а потом, в 30-е годы, вместе с общим соединением политики с жесткой идеологизацией в духе классовой борьбы и интересов и т. д., его фигура, исходя из биографии, исходя из того, что он мыслил и писал на арабском языке, на персидском языке и в русле исламской культуры, — он, конечно, не подходил. А потом уже стали его изучать. Он был выслан и был четыре года в России, его освободили в связи восшествием на престол Александра III в 1881-м или 1882 году. Он был выслан, находился в Тамбовской губернии. Обвинение, которое ему было выдвинуто... Дело в том, что там было восстание, антицарское, а он находился на службе царской, и он обвинялся в том, что знал, но не доложил. То есть он не был активным участником, но он не доложил. И побывав в России, увидев Россию, он написал историю Дагестана, и он ясно и четко определил, что будущее Дагестана и лезгин связано с Россией, потому что это окно и путь в цивилизацию, что наука, просвещение отсюда придут, и в этом смысле у него были не то что какие-то отдельные суждения, а это именно была ясно сформулированная позиция, которую он и в жизни проводил, своих детей послал учиться в Санкт-Петербург, и которую он как писатель, как человек, который писал книги, обосновывал и защищал. И конечно, он был в нашей семье человеком почитаемым, и всегда были разговоры: вот его библиотека, куда делась его библиотека (сын был у него непутевый,

который кому-то продал), осталась библиотека или нет, — разные эпизоды, которые связаны с его биографией. Это такая была, я бы сказал, мифологическая, легендарная часть нашей семьи.

О.З.: Так и не нашли библиотеку?

А.Г.: Нет. Но установили полный список книг, которые были в библиотеке. У него был сын, отчаянный сын, который больше прославился отчаянными поступками, чем духовными подвигами, и он, кажется, продал библиотеку.

О.З.: Аул Алкадар был оторванный, в горах, и связь довольно плохая...

А.Г.: Да, туда машины даже не могли проехать. *(Смеется.)* Дорог не было.

Отношения с отцом

О.З.: Я понимаю. Но вторжение истории все-таки на каком-то этапе случилось, видимо? Война?

А.Г.: История присутствовала. Она как присутствовала — прежде всего через школу, потому что школа была советская, книги же были советские, и вот это была история. То, что папа говорил, а он, надо сказать, воспитывал нас в акцентированно советском духе. Я до сих пор не могу ответить на вопрос, в какой степени это была его искренняя позиция, в какой степени это была форма благоразумия, способ адаптации к условиям и воспитание детей таким образом, чтобы они смогли в этих условиях выживать, мне трудно сказать. Но правда состоит в том, что даже потом, когда я учился вне дома, вне аула, мы переписывались.

” **Особенность моей биографии в том, что у меня есть большая переписка с отцом, это письма простые, в которых мы делимся самыми общими сведениями, фиксируем уважение, наше здоровье, но, тем не менее, есть эти письма.**

И вот уже когда я школьником был, он мне всегда присылал вырезки из газет, тогда перед каждым праздником, ноябрьскими, майскими, выпускались призывы ЦК КПСС, то есть лозунги, с которыми надо было выходить на демонстрацию. И эти призывы охватывали все категории людей, в частности были, скажем: «Пионеры и школьники, учитесь...» и т. д. И вот он мне вырезал и присылал «Пионеры и школьники...». Когда я уже был студентом, он мне присылал «Студенты, овладевайте...» и т. д.

О.З.: Там было: «Труженики села...».

А.Г.: Ну, он мне «Труженики села...» не присылал, а вот «Пионеры и школьники...» он мне присылал. Почему он это делал, мне трудно сказать. Но это была его установка. И может быть, это тоже имело значение в отношении к существующему порядку вещей при всех трудностях и даже жестокостях, непонятностях, — в отношении к существующему порядку вещей в семье моей никакой двусмысленности не было. В детстве я хорошо помню такой эпизод, что утром рано бригадир приходит пешком, иногда на лошади и начинает говорить: «Женщины, выходите на работу». Они должны идти на работу, жать или еще какими-то делами заниматься. Конечно, женщинам не хочется идти на работу, у них дома скот, дети, они не откликаются. Он уходит на другой конец села, потом опять приходит, начинает орать, кричать, он не может ничего другого сделать по этическим и по всяким другим соображениям, но ходит и кричит. И это длилось часа два, понимаете, и это регулярно, каждый день. Я хорошо помню, и этого бригадира хорошо помню, всю эту сцену, и естественно, сама эта сцена говорит об отношении людей к этому, но чтобы это в какой-то обобщенной форме фиксировалось или чтобы кто-то сказал: «Да плевал я на ваш колхоз!» — или еще что-то в этом духе — даже помыслить было невозможно. Это принималось как: вот идет дождь, ну раз дождь, значит надо где-то спрятаться, никому же не придет в голову

проклинать дождь, но придет в голову как-то приспособиться. Вот приблизительно было так, но, во всяком случае, первые мысли критические, типа «карбонариев», такого типа, я услышал, конечно, не из семьи, а позже, после XX съезда партии, уже со стороны других активистов — был один рабочий. В общем, внутри семьи не было никогда такой двусмысленности.

О.З.: А вообще с отцом вы были близки? В детстве и потом или это определенный тип отношений?

А.Г.: Это была близость в рамках, которые допускает мусульманский этикет. То есть это никогда не была близость, которая широкую откровенность предполагает. Единственное — папа не ставил резких барьеров. Скажем, я даже маленьким мог заходить в его комнату.

” У нас были комнаты все распределены, и была его комната, особая комната, одновременно и гостиная, когда гости приходили. У него там стоял глобус, была карта на стене, был патефон в этой комнате, то есть какой-то немножко другой мир. И в принципе, обычно детям не разрешается шастать в такого рода комнатах, но он мне разрешал, допускал, и когда гости приходили.

О.З.: То есть выделял вас среди других детей?

А.Г.: Мне трудно сказать. Может быть, просто потому, что я рос вне дома, так сложилась моя биография. Я не могу сказать, чтобы он меня среди других детей выделял, но, во всяком случае, это были очень отношения уважительные, вплоть до последнего момента; я уже был совсем взрослый человек, и доктор, и все, но когда отец входил, я всегда вставал. Эти формы почтительности, которые заданы, они всегда сохранялись. И он, вызывая безусловное уважение, никогда не употреблял власть, то есть он всегда предпочитал соглашаться. Скажем, такой ключевой был эпизод, когда я после десятого класса думал, идти мне в вуз или не идти, — тогда была такая мода, что надо идти поработать, как-то окрепнуть. Тогда Симонов Константин написал статью в «Литературной газете» и еще где-то, где призывал молодых людей идти на производство, — кстати, один из примеров того, что не надо никогда заниматься такими призывами. Я тоже тогда поддался, и папа имел разговор со мной, он говорил: «Конечно, я тебя понимаю, может быть, это и правильно, и в другой раз я не возражал бы против этого, но учитывая, что я не молодой человек (56-й год, ему в это время было пятьдесят шесть плюс шестнадцать, сколько ж это получается? Семьдесят два года), мне бы хотелось еще при своей жизни увидеть своих детей получившими высшее образование. И поэтому, я прошу тебя, ты учись». Я сказал: «Ну ладно, пап, тогда я поеду в Московский университет». Я думал: и ему не буду противоречить, и в тоже время, может, и завалюсь там. И поехал. В этом отношении, значит, были у нас хорошие, доверительные отношения. И потом, когда я [был] еще студентом, уже после XX съезда, когда пошла более вольная атмосфера, и у меня стали появляться мысли более критического отношения к жизни, к порядку, к устройству, он всегда был настороже, он всегда предупреждал, чтобы я не шел в этом направлении. Я думаю, что у него был воспитанный, может быть, 20—30-ми годами страх уже на каком-то клеточном уровне.

Учеба в школе



1951 г.

О.З.: Вы только в начальные классы ходили у себя, да? К отцу, собственно говоря.

А.Г.: Нет. Моя жизнь сложилась таким образом, что я учился в первом классе три года, то есть три раза я учился в первом классе. *(Смеется.)* Случилось так, что папа был учителем, и он, когда мне было пять лет, брал меня с собой в класс. А там у нас очень большие подоконники, на ширину стены. Он приводил и сажал меня на подоконник. Почему он меня брал в класс, в школу, мне трудно сказать. Может быть потому, что дома были уже другие, мои младшие братья, чтобы маме было легче, мне трудно сказать. Но он брал меня с собой в класс, и он вел уроки. А тогда в одном классе одновременно училось несколько классов, не могу вспомнить, три или два, но не меньше двух. Один ряд — второй класс, этот ряд — третий класс, этот ряд — первый класс. И он одновременно преподавал, а я сидел, слушал, как прикованный. Он меня посадит, я и слезть оттуда не могу, и не разрешалось, и я слушал. И так, в общем, впитывал, и он видел, что я что-то соображаю, и когда у ребят что-то не получалось, он меня спускал: «Ну-ка иди ты, сынок, напиши», — или: «Ты, сынок, скажи», — и я отвечал. И он видит, что все нормально, и в шесть лет он меня записал в первый класс. И я уже пошел в первый класс и его закончил.

О.З.: В то время это же было редко, чтобы в 6 лет. Это не было принято, я думаю.

А.Г.: Было положение, что с семи лет. Там же село, учитель, кто там смотрит? Мне трудно сказать. Я в шесть лет пошел, кончил и как первоклассник, видимо, был неплохой школьник. А потом однажды, как обычно что-то на улице мы гоняли, бегали; вечер, а перед домом у нас типа скамейки, бревно большое. И там папа сидит и его младший брат, дядя Имам, беседуют между собой, а я бегаю, и они меня зовут.



Я пришел, очень хорошо помню этот эпизод, и спрашивают меня, как я смотрю на то, если поеду учиться, — был поселок Избербаш, где дядя Имам работал, — в Избербаш, и жить у дяди Имама. А я сказал: «Очень хорошо», — выразил согласие и опять побежал играть. И все, так они и решили судьбу, решили, что я поеду учиться в поселок, в русскую школу, к дяде, жить у него.

Почему они так решили, это уже чисто семейные дела, то ли брат решил помочь, младший брат своему старшему, то ли потому, что у дяди Имама дом оставался здесь и какое-то хозяйство, и мы смотрели, мама и папа смотрели за ним. Ну, в общем, это уже чисто отношения братьев, дядей, племянника. Даже сейчас они являются более ответственными и теплыми, чем, скажем, в православной городской московской среде, не говоря уже о протестантской или еще какой-то. Элемент патриархальности, видимо, сохранялся. И я потом оказался, уже с семи лет, в русской школе. Так что я фактически учился у себя в родной школе в первом классе, но потом, вплоть до шестого класса, поскольку дядя на лето приезжал в село, в аул, а потом на зиму опять уезжал, и меня вместе с семьей своей увозил. Это происходило не всегда, и никогда не в начале сентября, а всегда где-то в октябре, скажем. И поэтому месяц или чуть больше месяца каждый год я учился на лезгинском языке. И благодаря этому я научился читать, писать по-лезгински, то есть это я все могу делать. Но уже когда я достиг семилетнего возраста — в третий раз пошел. Они меня не стали во второй класс брать, поскольку я по-русски вообще ничего не знал, ни бэ ни мэ, ни одного слова, а приехал в поселок, они меня определили, и я стал учиться в первом классе. Пошел уже в нормальную школу.

О.З.: А как же с языком?

А.Г.: Мне трудно сказать, язык я не знал, но я ходил в школу, изучал язык. Как это складывалось, никаких специальных учителей и процедур у меня не было, на улице, в школе изучал язык. Были какие-то конфузные ситуации, все-таки поселок нефтяников, и школа была, как сейчас бы сказали, русскоговорящая, то есть там учились русские, белорусы, если даже дети из местных народов, то все равно уже выросшие в городе, и проблемы с языком в этой школе не было. Но у меня возникла такая ситуация, как-то так получилось. Были курьезные ситуации, было, что дети издевались, поскольку какие-то слова неправильные, что-то еще. Из курьезных ситуаций самую забавную я помню, когда мне учительница, не помню сейчас имя-отчество, очень хорошая учительница, она говорит: «Гусейнов, иди, сотри с доски», — а я иду, беру мел и пишу цифру три. Я услышал «три» и думаю, что надо написать цифру три. И все: ха-ха-ха! Вот такого типа. Но я, тем не менее, первый класс кончил, именно кончил, там и тройки были, и думаю, что, наверное, учительница, видя, что я стараюсь, продвигаюсь, может быть, она даже шла навстречу, я это не исключаю. Но я кончил, хотя это не было автоматом, потому что вместе со мной в этой же семье учился мальчик Тимур, брат жены моего дяди, он не потянул, он остался на второй год, и его отослали назад, потому что не было смысла его дальше [держат]. А я остался. И потом, во втором классе, я стал учиться на «хорошо», у меня не было троек, а потом я уже стал отличником. Тут недавно мне привезли, нашли «Похвальный лист» — мне как ученику четвертого «Б» класса...

О.З.: Грамота.

А.Г.: «Почетная грамота»: портрет Ленина, портрет Сталина: «за отличную учебу и похвальное поведение».

О.З.: У вас уже началась тогда избирательность к предметам, какие-то предпочтения или то, что легче давалось?

А.Г.: Мне трудно сказать. В принципе, я учился хорошо, у меня не было такого, чтобы мне не давалась математика, физика или еще что-то. Единственное, химию я не очень любил, это точно. Не знаю почему, именно химию. Хотя биологию очень даже любил, основы дарвинизма у нас были. И поскольку я был целый ряд классов отличником, а потом уже не отличником, но все равно, если у меня были одна-три

четверки — это чисто такие. Не было такой установки: обязательно быть отличником. Такой проблемы не было. Но все-таки гуманитарная склонность была, больше я тянулся к этому, может быть, из-за семейной ситуации, из разговоров у себя дома, в семье, потом старший брат мой — поэт, писал стихи, и это могло оказать влияние, ну и потом, в целом, если говорить о каком-то общественном сознании лезгин, дагестанцев, это этап гуманитарно ориентированный, просветительский этап, не инженерный. Инженерный позже начинается. Даже кружки, куда я ходил, чтецов какие-то, — были у нас авиамодельные, еще какие-то, — нет, я не ходил. В шахматы ходил играть.

О.З.: И в чтецов ходили?

А.Г.: В чтецов не ходил, но я выступал со стихами, читал на вечере. В общем, да, пожалуй, склонности были более гуманитарного свойства.

О.З.: А тогда не было такого предмета в старших классах, как обществоведение? Это позже, наверное, возникло.

А.Г.: Не было. Там мне очень нравилось: основы дарвинизма были, литература была, потом была конституция, по-моему, в седьмом или восьмом классе, история естественно. Такого предмета, как обществознание не было, обществоведения не было.

О.З.: Откуда тогда такая идея возникла?

А.Г.: Это мне трудно и легко сказать, потому что никто не знает, откуда все это возникает. Я думаю, одна из ошибок людей, которые о себе рассказывают или которые их спрашивают, как будто можно точно сказать причину того или иного действия, почему это произошло. В лучшем случае можно сказать, как ты думаешь, почему это произошло. А почему на самом деле произошло, это, мне кажется, никто и не знает. И вообще любое действие всегда является следствием совокупности всяких факторов. И проследить всю их совокупность практически невозможно. Но я единственное, что знаю и помню, — я начал читать брошюры «Общества по распространению общественно-политических знаний», по-моему, оно так называлось. Оно было «общественно-политических», потом «общественно-политических и научных», а потом «знания». Вот так, по-моему, менялось название. И я читал эти брошюры, самые разные брошюры. В том числе прочитал брошюру о законах диалектики, или даже о законе единства и борьбы противоположностей. Меня все эти вещи заинтересовали.

Была у меня, видимо, склонность к этому. Потому что я помню такой эпизод, что к нам туда, в поселок, а он уже к этому времени, наверное, город был, приехал студент четвертого курса к кому-то в гости. А мои соклассники, даже скорее соклассницы, стали говорить, что он умный, философией занимается, еще что-то, и что мне надо обязательно пойти к нему побеседовать, и повели меня к нему. И я помню, он то ли больной, то ли еще что-то, такой весь изнеженный, бледный, вялый, то ли играл в такого обремененного (*смеется*), лежал в постели. Они меня привели, я с ним вел беседу, спрашивал его о чем-то. Вот это я хорошо помню. То есть это говорит о том, что все-таки у меня какой-то интерес, склонность к этим вещам была. Но это, пожалуй, скорее было связано с общим романтическим настроем, с общим идеалистическим настроем. Можно это назвать поверхностно-глупым отношением к жизни. Но это было отношение, которое истекало из того, что вся героическая гуманистическая терминология, установка воспринимались всерьез. То есть это не воспринималось как что-то дежурное или выдуманное, нет. Допустим, мы же учили ранние рассказы Горького, да. Все это воспринималось — и вообще вся советская литература, «Молодая гвардия», например, — воспринималось как то, на что надо примерять жизнь. И я думаю, этот общий настрой, конечно, оказал свое влияние. А если более конкретно, это у меня, по крайней мере в воспоминаниях, замкнулось на брошюру «Единство и борьба противоположностей».



И тогда я стал думать, а что же, собственно говоря, в самом человеке, если всюду есть свои противоречия и они являются источником движения, плюс — минус, горячее — холодное, а что в человеке? Почему какие-то люди достигают выдающихся успехов, а другие — нет? С чем это связано? И у меня была идея, что есть сердце, есть ум — как одно с другим связано. Вот вокруг этого были идеи.

Но я бы сказал, такой интерес — он не был расчлененный, очень точный, если отвлечься от этой замкнутости на борьбу противоположностей, в остальном это все носило мечтательный характер, я бы так сказал.

XX съезд КПСС. Смерть Сталина

О.З.: В одном из интервью вас попросили назвать несколько книг, пять, по-моему, книг, которые, вам кажется (это глупый, конечно, вопрос), которые, вы считаете, нужно обязательно прочитать, и они для вас были значимы. И если я не ошибаюсь, там были две книги Дюма, или, во всяком случае, «Граф Монте-Кристо».

А.Г.: Дело в том, что я его прочитал позже. Я сейчас это хорошо помню, я «Графа Монте-Кристо» читал вместо подготовки к экзамену по истории. Это на первом курсе было. И вообще, период экзаменов на первом курсе — это был счастливый период, потому что не надо было вставать рано и идти к 9.00 на занятия. И я помню всю ее, я ее проглотил, эта книга на меня произвела огромное впечатление, «Граф Монте-Кристо». Я даже не могу сказать, почему, но произвела. Что касается в школьные годы, то, пожалуй, это были именно школьные вещи, ну еще «Овод» Войнич. Вот какие-то такие вещи. И конечно, на меня огромное впечатление произвел XX съезд. Я был тогда то ли секретарь комитета комсомола школы, что-то в этом духе, и я читал сам, в школе собирали людей, это письмо.



И до сих пор хорошо помню: в красной такой обложке, — помню, как секретарь горкома комсомола пришел, принес, и я читал это письмо. Оно произвело на меня очень сильное впечатление. Не в том смысле, что я всему этому поверил, наоборот, у меня потом сложилось немножко другое отношение. А в том смысле изменило меня, что я не поверил в то, что начали всерьез преодолевать то, что они критиковали.

Я тогда, пожалуй, впервые как бы снял пелену с глаз и увидел, что реальность нашей жизни очень далека не только от идеала, который провозглашается, но и от того, как эта реальность изображается, скажем, в средствах массовой информации и т. д. Я помню, что я тогда именно с изложением этого своего настроения и с идеей, что на самом деле не ведется серьезная работа по изменению жизни, по тому, чтобы более ответственно относиться к целям, которые провозглашены, я написал письмо в ЦК КПСС. Никогда никакого ответа я не получал, никогда никакого отклика я не получал, но оно было очень дерзким. Я никогда не рассказывал об этом, но это письмо было, это было написано в период между мартом и июнем 56-го года, то есть после XX съезда и до того, как я уехал учиться в Москву. И, в принципе, если есть где-то такой архив, где эти письма регистрировались, хранились и т. д., там, наверное, можно его найти, оно там должно быть. Я помню, что там я говорил, что наша пропаганда, она, в общем, приукрашивает, что она фальшивая, что есть даже такая поговорка «Врешь как советское радио» — вот такого типа. Вот то, что я из этого эпизода помню.

О.З.: То есть решения XX съезда не были для вас каким-то обрывом, болезненным чем-то по отношению к Сталину, я имею в виду?

А.Г.: Нет, не были. У меня отношение к Сталину сложное. Я даже так и не формулировал. Я помню только по отношению к Сталину такой эпизод (*смеется*): это было в интернате, я уже жил в интернате, 53-й год.

О.З.: Старшие классы, да?



1958 г.

А.Г.: Дело в том, что до шестого класса я жил у дяди, а потом, поскольку семья дяди переехала в аул, и он остался один, не было уже семьи, то куда мне деваться? Он работает. Они нашли — разумно, я считаю, вполне, перевести меня в Интернат горцев. Было такое учреждение, Интернат горцев. Значит, это был интернат, в котором мы могли жить и нас кормили. Но одежду всю — это была ответственность родителей. Это был интернат для детей из аулов, где нет средней школы, или в силу каких-то причин, многодетные и т. д., и поэтому давалась такая возможность. И я уже с седьмого класса учился в Интернате горцев и жил в общежитии. И помню до сих пор, 53-й год, я еще спал, и пришел парень, я даже помню, кто, Магомед, и сказал (я шучу, что все великие события я проспал: когда Гагарина объявляли, я спал, меня разбудили, рассказали, когда Сталин умер — тоже), пришел и сказал, что умер Сталин, передали, что умер Сталин.



Я хорошо помню эту ситуацию, что я должен был разрыдаться, или должны были слезы появиться, а у меня нет ничего этого. И я смущенно себя чувствую из-за того, что не стало это для меня потрясением.

Вот это я хорошо помню. А мое отношение складывалось, я бы так сказал, не столько через отношение к Сталину, сколько через отрицательное отношение к Хрущеву и через отрицательное отношение к тем, кто так рьяно критиковал культ личности и все такое прочее. В каком смысле? Ну, я просто смотрел, кто так рьяно за Хрущева? Кто так рьяно ругает культ личности? И когда я так присматривался, я видел, что в чем-то эти люди у меня не вызывают доверия. Я видел что-то в них такое, я не доверял этим людям, я не видел, что они искренние. Вот, пожалуй, это у меня выработало какую-то сдержанность, и в этом смысле я не могу как шестидесятники — они говорят: «дети XX съезда», — нет, честно, если посмотреть, так, как я это вспоминаю, я этого не могу сказать. Хотя именно после XX съезда я впервые увидел этот диссонанс, который существует между реальностью нашей жизни и между тем, как эта жизнь изображается на уровне идеологии, в средствах массовой информации. И в этом смысле это был, конечно, для меня качественный сдвиг. Он состоял в том, чтобы обратить внимание именно на это расхождение, а не на то, чтобы начать ругать то, что было раньше. Вот так бы я сказал.

Приезд в Москву. Студенческие годы

О.З.: Вот вы приехали в Москву. Что это было для вас? Сама Москва и факультет что из себя представляли?

А.Г.: В Москву до того, как в 56-м году приехал поступать, я приезжал еще в 55-м году. В 55-м году в Дагестане сформировали группу школьников, передовых, еще каких-то, послали их как подарок в Москву. Я вообще ничего не знал. Я уехал на лето в деревню, а потом мне сказали, что меня включили в группу, и я в составе группы приехал в Москву. До сих пор помню, жили мы в районе метро «Смоленская», в школе. Почему? Потому что я помню, это был самый длинный эскалатор, глубокий эскалатор.

О.З.: Да, там глубокая станция, и она старая станция.

А.Г.: И помню, на время приезда нас выделили, один или два человека, — я даже не знаю, из-за чего, меня тоже выделили, то ли я в концерте участвовал, то ли еще что-то. Уже во время этой поездки я получил право посетить Мавзолей. И я тогда посетил Мавзолей и увидел и Ленина и Сталина впервые в Мавзолее. Конечно, первый приезд в Москву, особенно когда подъезжаешь к Москве, это, конечно, было глубокое разочарование, просто глубокое.



Ведь Москву мы как представляли? По открыткам: салют, Красная площадь — это что-то такое, это парад, это сказка. С Москвой вообще не сопрягались какие-то недостатки, ничего такого. Москва — она шла по особому счету. А когда приехали, увидели грязь, лачуги, еще что-то.

Особенно когда подъезжаешь к Москве, это было разочарование. А уже когда студентом — это была другая ситуация. Я помню, я приехал за день перед последним днем, когда надо сдавать документы, это был последний день июля.

О.З.: Вас поселили в общежитие?

А.Г.: Да, конечно. Это все было отработано, тогда надо было пройти через санпропускник, нас пропускали на Казанском вокзале, то есть одежду всю пропускали, еще что-то. Это была процедура, я только не помню, по приезду все проходили? По-моему, нет. Это была процедура, которая предшествовала поселению в общежитие, мне так кажется. Но точно сейчас я не помню. Я сдал документы, получил направление в общежитие. По-моему, на Стромынку, потом где и жил, да. Но тут уж я включился в этот процесс. Должен сказать, что и здесь все условия, ситуации, в которые я попадал, и даже тот факт, что я поступил, я воспринимал как факты жизни. Единственное, что я помню, — это когда я поступил, я пошел на телеграф, чтобы дать телеграмму. Тот факт, что я иду, даю телеграмму, вот это я помню, это означает, что какое-то для меня это имело значение. Я до сих пор хорошо помню, это было на Центральном телеграфе, я написал адрес: село Алкадар Касумкентского района, Дагестанская АССР и т. д. Папе. Я пишу, что поступил. Не знаю, телеграмма дома где-то сохранилась? Маловероятно. И женщина, которая принимала телеграмму, говорит: «Вы знаете, вы теперь будете часто писать, вы студент, вам надо экономить», — и она научила меня кратко писать адрес: «Алкадар, Касумкентского, Дагестанской» — три слова вместо десяти слов (*смеется*). Вот до сих пор хорошо помню. Как-то она подошла ко мне неформально, так скажем, участливо.

А когда уже на факультете, ну тут уже сразу ведь появились ребята, товарищи, сразу мы окунулись. То, что мы здесь увидели, то, что нам стали преподавать, никакого отношения не имело к моим представлениям о философии. Уже пошла Милетская школа, «Пир», в общем, это какой-то другой мир, в который надо было входить, овладевать. Это одна сторона. И конечно, это было не так просто. Потому что и в университете собственно философские предметы, в частности, на первом курсе, прежде всего история философии, мы прямо с нее и начали, потом логика, психология отчасти. Они одновременно сопровождалась и такими, как история, история партии, какими-то социально-политическими, которые могли создать неправильное представление о том, что такое философия. То есть это сочеталось.

Конечно, очень большую роль играло то, что у нас сразу образовалась община. Жили в общежитии, в комнате восемь человек, на Стромынке. И сразу начались события. Сентябрь — это война в Египте: Франция, Англия, Израиль против Египта. И Советский Союз выступает в защиту Египта.

” Нас посылают, мы пошли протестовать у французского посольства на Якиманке, до сих пор помню, собирались, кричали, протестовали. Я бы не сказал, что была какая-то ярость, даже была какая-то веселая атмосфера. Это была вообще особенность всех, я бы так сказал, публичных форм жизни этого периода.

Вот мы, скажем, пошли туда протестовать и вроде бы действуем в русле того, что нам сказали, и в то же время мы идем и как-то участвуем, и строим отношения, можем даже критически отнестись. Помню, Юра Скрялев, был такой у нас, собрал вокруг себя и кричит: «Да здравствует Ги Молле!», а Ги Молле был премьер-министром Франции. Мы протестуем против Франции, а он кричит: «Да здравствует Ги Молле!» (*Смеется*.) Вот такая была атмосфера. Потом пошли венгерские события, по-моему, 23 октября. Это было очень большое потрясение, первое публично заявленное выступление в рамках социалистического государства против социализма. Я помню, студенты философского факультета посылали телеграмму студентам философского факультета Будапештского университета. Все это как-то живо воспринималось.

Потом выставка Пикассо. Вокруг этого — абстракционисты, то да се. То есть пошел водоворот общественных событий, в который мы были втянуты. Причем были втянуты, я бы так сказал, как бы с потрохами, то есть полностью были втянуты. Это не то, что это была часть нашей жизни, а это занимало важное место. Конечно, у нас был и свой быт. Я помню, в общежитии, друзья, встречи, вечера и все такое прочее. Но при этом все-таки события общественные занимали важное место, и в разговорах наших, и в наших дружеских пристрастиях. То есть это, во всяком случае, не было чем-то внешним и отчужденным.

И потом пошла студенческая жизнь. Ведь все, что случается, оно кажется таким, что ли, неожиданным на расстоянии или при воспоминании. Но когда ты непосредственно в это втянут, все это выглядит по-другому, понимаете? Ну, к примеру, наша среда Института философии, здесь есть разные люди по своему интеллектуальному потенциалу, достижениям, и есть люди, которые наверняка оставят заметный след в нашей науке, — если не фундаментальный, но все равно каким-то образом туда войдут. Но разве можно сказать, что на уровне нашего непосредственного отношения это как-то замечается или выделяется? Нет. Я упоминал Бибикина, вы мне упоминали его в самом начале нашего разговора, он был сотрудником нашего института, но вел спокойное, в значительной мере даже маргинальное существование, правильно? Вел свой семинар. Нельзя сказать, что туда все сбегались или все с раскрытыми ртами смотрели — нет, и может быть, не все распознавали, что он есть Бибикин. То есть это разные оптики. Понимаете, одно дело — когда событие включено в непосредственную жизнь, и другое дело — когда это событие само по себе выделено, и ты на него смотришь уже в рамках какого-то взгляда, какой-то конструкции, да? Это совсем разные вещи. Все-таки факультет и Москва, они стали уже жизнью. И это все имело непосредственный смысл.

О.З.: Значит ли это, что совсем не было каких-то авторитетных фигур, что все они были как бы влиты в поток жизни?

А.Г.: Ну как же? Они были. Авторитетность — она тоже была элемент этой жизни. Конечно. Причем та селекция, которая была произведена на первом курсе, она осталась и на всю жизнь. Не то чтобы это было ошибочно и т. д. У нас был Войшвилло. Это же поразительно: человек читал логику, и читал логику, я бы сказал, всем своим телом, понимаете? (*Смеется.*) Увлеченно, страстно. Логика! Конечно, все сразу понимали, что это что-то значительное. Гальперин Петр Яковлевич, конечно. Были другие фигуры. Но, в общем-то, более-менее все понимали масштаб, так скажем. Кафедра истории зарубежной философии, конечно, выделялась. Она была элитарной, и считалась элитарной. Что касается большой массы преподавателей, которые были на кафедре диалектического материализма, отчасти исторического... На историческом материализме даже, может быть, были более яркие, тот же Чесноков, Андреева Галина Михайловна, да и Момджян. А на кафедре диалектического материализма Мальцев, Черкесов. Или, скажем, кафедра русской философии, такой был набор преподавателей. Они во многих отношениях вызывают уважение. Еще был Лебедев на кафедре диалектического материализма — они все вызывают уважение. Как говорил Пушкин, «наставникам, хранившим юность нашу, не помня зла, за благо воздадим». И в этом смысле, конечно, это правильная позиция. Всем им надо воздать за благо, что они хранили нашу юность, чем могли помогали, ругали и т. д. Тем не менее поскольку все-таки были разные преподаватели, те, которые могли бы вызывать нарекания, придерживались догматических позиций, с некоторой ограниченностью взгляда, — они тоже играли свою роль. В каком смысле? В том смысле, что мы понимали и фиксировали это, и мы формировали соответствующее отношение. И может быть, это имело не меньшее значение. И сам этот контраст, который существовал, он тоже был очень важным фактором.

” А потом, я скажу так: так складывалась, по крайней мере, моя студенческая юность, что если за 100% взять всю совокупность факторов, которые определяли интеллектуальное развитие, духовное развитие в особенности, но даже интеллектуальное развитие, то я бы так сказал — на долю факультета как совокупности кафедр, лекций и семинаров, наверное, вряд ли придется больше 50%. Остальное — это общая атмосфера Москвы, друзья, товарищи, общежитие, это настоящий Вавилон — МГУ.

Кто там только не был, какие только не переkreщивались люди, идеи, авантюристы. И это все оказывало влияние. И тогда ведь публичная общественная жизнь, в разных формах: демонстрации, дружины, еще что-то, — она была очень активная.

О.З.: Субботники. Самодеятельность.

А.Г.: Субботники, да. Она была очень активная. А самодеятельность, театр МГУ. Я помню до сих пор, ставили Павла Когоута «Такая любовь», какой вызывала восторг. До сих пор помню, там же, в этом театре, «Иваново детство» впервые мы смотрели, обсуждали. Мой сокурсник Женя Левада, брат социолога Юрия Левады, участвовал в театре, он был любителем театра, и мы более близко были связаны из-за этого с жизнью театра. В этом смысле, мне кажется, наша жизнь имела больше источников живительных.

О.З.: Чем лекции. *(Смеется.)*

А.Г.: Нет, чем сейчас. Чем лекции — нельзя [сказать], все-таки лекции — какая-то организованная система. А потом, и там, понимаете, там тоже была странная ситуация. Нам задавали читать столько произведений, что их никогда прочитать было невозможно. Если сейчас достать планы семинарских занятий, по которым мы учились, скажем, любую тему по истории зарубежной философии, или по русской философии, вы увидите, что давались первоисточники в таком количестве, что их нельзя прочитать, даже если все двадцать четыре часа этим заниматься. А они же — еженедельные семинары. Значит, что из этого вытекало? Из этого вытекало — и были такие, большая редкость, но были, — что ничего читать не надо, как-то так обходились. Или читали выборочно. Те, кто интересовался, вроде меня, читали выборочно. А раз выборочно — это уже твоя работа, ты берешь то, что тебе нравится, ты уже обнаруживаешь творческое начало, ты же почему-то выбрал, значит, что-то ты там ищешь, на чем-то ты настаиваешь. Даже вот этот, казалось бы, факт, который в принципе можно признать недостатком методической работы, который мог бы вызвать упрек, даже он, мне кажется, по-своему оказывал позитивное влияние. Вообще жизнь в себе несет оптимистическое начало, ибо лишенная этого начала, она сама уже отсутствует. И эта юность факультетская, она была той единственной, что у каждого было. Это задает определенную диспозицию по отношению к жизни. И в моем случае она является благодарной и в тех случаях, когда речь идет о действительно выдающихся преподавателях, которые у нас были, и в тех случаях, когда речь идет о всех других.

Изучение истории философии

О.З.: А как историю философии вы изучали? Было ли это критическое или в основном пересказывающее, аналитическое отношение? Вы же много потом занимались историей философии и задали определенный взгляд, стремление, если это возможно, насколько это возможно, слиться с тем философом, о котором вы пишете, и воспроизвести тот мир в тех понятиях, в которых он мыслит. Такой особый подход, это было так? Или, может быть, совсем иначе? Какой-то такой извне критический взгляд.

А.Г.: Нет. Я думаю, что в том виде, в каком нам преподавалось, и мы изучали историю философии зарубежной, все-таки превалировало стремление понять, о чем там идет речь. Что касается критической установки, если она была, — она была чисто дежурной, внешней и она не определяла отношение, потому что желание разобраться, понять, о чем там идет речь, что это такое, изложить превалировало, это было на 99%. И по-другому вряд ли это могло быть. Историю философии мы изучали с первого до последнего курса, с первого до последнего часа нашего преподавания. Я очень хорошо помню всех, кто нам преподавал историю философии: Античность нам читал, впервые, по-моему даже единственный раз, Соколов Василий Васильевич, а вел семинарские занятия Чанышев Арсений Николаевич, очень своеобразно вел, он с нами тексты читал, «Метафизику» Аристотеля читал; затем средневековую философию нам читал Баскин, такой был очень грустный страстный человек, мне кажется, он не оставил в общем никакого следа, кроме того, что это Баскин.

О.З.: Но тогда же и текстов, в общем, не было доступных, и Средневековья очень мало.

А.Г.: Нет-нет. Отношение вообще было такое, гегелевское, а Гегель что говорит: «Мы эти средневековые пробежим, надев сапоги-скороходы». Вот он в сапогах-скороходах и пробежал, он, в общем, мало ценил средневековую философию.

О.З.: Ну да, там схоластика как ругательство.

А.Г.: Да. Новое время нам читал Ойзерман, это уже совсем другой уровень. Помимо того что это был философ с именем, знающий, он — прекрасный оратор, даже способностями ораторскими обладал. Он нам читал за исключением Канта. Канта нам читал Асмус, и читал довольно много. И Асмус вел у нас семинары по Канту, три семинара, три четырехчасовых семинара, по всем трем «Критикам». Вот это я очень хорошо помню. И, в общем-то, мы, конечно, не были готовы к его семинарам. Мы не могли подняться до уровня такой свободной беседы на этих семинарах. И он нам, по большей части, сам продолжал рассказывать, потому что он в принципе не мог назвать фамилию, поднять человека и его спросить, это было исключено. Но это отдельный разговор, как он вел семинары.

А современную западную философию читал Мельвиль. Мельвиль — как немецкий профессор, он просто читал. У него был текст полный, и он этот текст считывал. Ойзерман говорил свободно, как оратор. Асмус тоже читал. Что касается Соколова, то его никогда было не понять, то ли он читал, то ли еще что. Он в своей манере, как и в последующем продолжал, читал. Это тот случай, когда манера чтения мешает пониманию самой глубины. Я помню, как мой сокурсник Витя Бычков говорит: «Послушайте, — говорит, — я стал готовиться по конспектам, которые читал Соколов, так это же совсем другое дело!» *(Смеется.)* То есть эти конспекты оказались настолько полными и глубокими, что этого было вполне достаточно, и его поразило. В то время как непосредственное восприятие не производило такого впечатления. И даже Мельвиль, конечно... Курс Мельвиля назывался «Критика...»

О.З.: «...современной буржуазной философии».

А.Г.: Да. «Критика современной буржуазной философии», но эта критика была в форме изложения. Даже индийскую философию нам читал на пятом уже курсе, одну или две лекции — у нас появился на пятом курсе Пятигорский, он нам читал. До сих пор помню, он ходил, ходил и что-то буркнул по латыни, потом смотрит — никто не реагирует. Может, это шутка была, должны были смеяться, мне трудно сказать. А потом так смотрит, он же так странно смотрел, не знаю, в силу каких причин, и говорит: «А вы что, не учили латынь?» Мы говорим: «Нет, не учили», — и довольно весело, почему мы должны были ее учить. И он вприпрыжку бегал туда-сюда: «Как это, философы без латыни, нонсенс!» — кричал. *(Смеется.)*

Потом, на пятом курсе, Замошкин Юрий Александрович появился. Я думаю, он появился в рамках курса по социологии, который нам уже читали. То есть желание дать нам образование, чтобы нам хорошие преподаватели читали, конечно, было. И мне еще повезло, я уже думаю задним числом, почему так получалось, что у нас в группе, допустим, Ойзерман читал лекции и он же вел у нас семинарские занятия, Асмус читал лекции и он же вел у нас семинарские занятия. То есть в этом смысле наша группа имела какую-то привилегию. Я думаю, это было связано с тем, что у нас иностранцы учились. У нас было несколько иностранцев на курсе, в том числе итальянец. Итальянский коммунист, он потом отошел, мне кажется, от левого движения, Альберто Сандретти. Очень хороший товарищ, интегрировался в нашу среду и был одним из источников, который поддерживал наш критический настрой. И было два албанца, одного, кстати, звали Диоген. Я думаю, в силу этого, видимо, нашу группу выделяли, это имело какое-то значение.

Группы и циклы обучения на философском факультете

О.З.: То есть это была группа, не специализирующаяся по какой-то кафедре.

А.Г.: А тогда не было таких. Система специализирующихся и система спецкурсов — тем более такого огромного количества спецкурсов — это позже появилось.

О.З.: То есть до конца, до пятого курса, были группы смешанные?

А.Г.: Да, группы. Обычные группы, как сформировались, так они и шли. Было только поделено в связи с тем, что было два цикла: один был цикл физический, а другой — химико-биологический. Тогда была

программа, мы изучали естественнонаучные предметы, в частности, сдавали математику, на первом курсе, все сдавали, а потом три экзамена по физике у нас было: механика, электричество и ядерная теоретическая физика. Вот эти три экзамена. И здесь было какое-то разделение. А так нет, а курсовые выбирали кто как хотел, по кафедрам. Только на первом, по-моему, курсе мы обязаны были все писать по логике, и мы писали все по логике. Я, помню, писал об определении, что такое определение.

О.З.: Как раз Войшвилло, а нет, Войшвилло «Понятие» книжка вышла.

А.Г.: У него «Понятие», да. Я даже не помню, кто проверял. У нас логику, семинарские занятия вел Ветров, был такой преподаватель, очень хороший преподаватель.

О.З.: А вы себя осознавали как марксистов? То есть реализовали себя, скажем, в философском пространстве таким образом?

А.Г.: Мне кажется, я был марксистом. Марксистом по факту.

О.З.: Скажем, «Капитал», произвел впечатление методологическое?

А.Г.: Конечно. Ранние произведения Маркса, «К еврейскому вопросу», «Гегелевская философия права», «Введение» и сам «Капитал». Вне всякого сомнения. В свое время Гумилев Лев Николаевич говорил так: «Я православный, потому что я материалист». Он говорит: «Я родился в православной среде, у меня не было другой среды, кем же мне еще быть? В качестве материалиста я являюсь православным». *(Смеется.)* Вот приблизительно так же мы все были марксистами. Но при этом марксизм как сознательную позицию, больше того, даже применительно к этике, марксизм как критику морали, даже в каком-то смысле как отрицание морали, я считаю очень важным этапом в истории этики, исключительно важным этапом. Собственно говоря, в качественном смысле это тот же рубеж, который на другом языке Ницше обозначил. Но это была, конечно, веха, которая сейчас начинает терминологически оформляться: «классическая, постклассическая, неклассическая» и т. д. А это именно то, что они называли «конец немецкой классической философии», вообще конец философии. И то, что было заложено в «Тезисах о Фейербахе», — это важнейшая веха философского развития, но, может быть, более широко — идейно-интеллектуальной истории Европы.

Критическое отношение к морали. Первая статья. Диплом

О.З.: А сами вы, был у вас период критического отношения к морали, или вы только как веху это отмечаете?

А.Г.: К морали, конечно, был. Больше того, можно даже удостовериться. Скажем, было какое-то обсуждение здесь, в Институте философии, я про него даже забыл, а потом мне принесли «Вопросы философии» за 65-й год, жалко, я не сохранил, и там был отчет об этом обсуждении. И там как раз зафиксирована была моя позиция именно как человека, который относится негативно к морали, апеллируя именно к марксистской традиции. У Петра Элина была книга о советской этике, и я тогда не был известной фигурой, чтобы там мне значительное место было посвящено, но, тем не менее, у него там есть упоминание моей позиции как несколько необычной; позиции, которая не имеет здесь такого хождения, но, тем не менее, она была обозначена. Да, у меня был такой период. И в принципе, как некая установка, она сохраняется. То, что я писал, скажем, «Моральную демагогию», «О словах» и то, что потом — не такая была у нас, не совсем принятая точка зрения: Ницше рассматривать как моралиста. И тот факт, я забыл, как же была статья обозначена, в общем, речь шла о том, чтобы позитивно осмыслить позицию Ницше как этическую позицию, то есть не принимать за чистую монету его нигилизм. И вся идея в этом, что его критика, — она тоже ведется с неких моральных позиций, что у него наряду с одной моралью есть еще другая, более высокая. Поэтому этот дух недоверия и опасности, которая скрыта в моральном сознании, он остался, конечно. И это от Маркса и от всей установки, которая потом в 20-е годы превалировала, если взять Бухарина, Луначарского, это же все нашло свое выражение.

О.З.: Но как так случилось, что ваша первая статья опубликованная была по конференции по физике, по моему?

А.Г.: Это очень просто. Это было чисто случайно. У меня был товарищ, он, к сожалению, рано умер, Геннадий Власович Салгалов. Мы были с ним близки, я к нему тянулся, но в особенности — он ко мне. Он твердо видел во мне своего товарища, соратника. Он очень хорошо учился, человек был очень волевой, очень политически настроенный, такого склада, я бы сказал, акцентированно коммунистического, критически настроенный по отношению к Хрущеву и ко всему, что делалось в стране. И это была его инициатива. Это была конференция, мы были на пятом курсе. Это же статья не моя. Это была его инициатива, «давай напишем» и т. д. Вот так это и получилось. По-моему, в «Философских науках» или в «Вестнике» она была опубликована. Это была инициатива Гены Салгалова. Он был с Украины, из города Шостка Сумской области. Так я никогда у него не побывал. Потом он работал где-то в Воронеже, потом в Москве, и потом, в общем, я потерял с ним близкий контакт, и он, как мне сказали, вскоре умер, у него была опухоль то ли мозга, то ли еще чего-то.

О.З.: Если первую курсовую вы писали по логике, потом какие еще курсовые вы писали, не помните?

А.Г.: Потом диплом я писал как раз по своему деду Гасану Алкадари, Мамедов, был такой доцент. Потом, кстати, выяснилось, что Мамедова послал учиться в Москву мой дядя, который в это время заведовал горно в городе Дербенте. А честно признаться, я не помню, потом я писал какие курсовые.

О.З.: Но в каком русле это было? В истории философии?

А.Г.: Истории русской философии. Больше того, я поехал, это был 60-й год, когда я поехал на преддипломную практику — тогда даже отправляли на преддипломную практику. Я собрал какие-то материалы, беседовал с тем, кто его еще помнил, собрал народные песни, которые были ему посвящены, и впервые в Институте истории, языка и литературы — он тогда назывался — архивное дело его открыл. Ничего там не было. И потом уже, много лет спустя, когда праздновали его 150-летие, уже оттуда изымали и пользовались этими, из архивного дела, данными. Он родился в 1834 году, плюс сто пятьдесят лет, это когда? 84-й год. И они достали, и один материал был под моим именем, а про второй материал было написано: «неизвестным человеком», хотя чего же неизвестного, когда тот же почерк и еще что-то, но они не были вместе, а как-то были разрознены. Я тогда еще в «Дагестанской правде» опубликовал небольшую статью, и на этом закончилось мое это увлечение и уже потом, в аспирантуре, я не стал.

Аспирантура. Кандидатская. Вопросы морали

О.З.: И что случилось дальше? Куда вы пошли, в какую проблематику?

А.Г.: А потом пошел я на кафедру этики. Уже в аспирантуре, конечно, да. Пошел на кафедру истмата.

О.З.: Да, на истмат же сначала.

А.Г.: Но дело в том, что кафедра этики как раз и была создана, когда мы кончали пятый курс, в конце 60 — начале 61-го года.

О.З.: И кто там был?

А.Г.: Это было очень интересно. Была создана не кафедра этики, а была создана кафедра этики и эстетики. И заведовать кафедрой этики и эстетики в Санкт-Петербурге стал Иванов, который занимался этикой, и поэтому почти вся кафедра занималась этикой, а эстетику там представлял Коган Самуил Моисеевич. А в Москве кафедрой этики и эстетики стал заведовать Овсянников Михаил Федотович, и поэтому они все стали заниматься эстетикой, а на этику вообще не обращали внимания. И мы, аспиранты, переходили, были сперва у него на кафедре, потом перешли на истмат и кончали уже истмат, кафедру истмата. Но все равно мы уже шли по этике. А этику представляли два человека, это Казаринов Владимир Владимирович, доцент, из старых людей, и Самсонова Тамара Васильевна, которая в последующем вышла замуж

за Егидеса, вместе с ним эмигрировала во Францию и, тоже, к сожалению, недавно умерла, — и которая включилась в это движение, как его назвать: диссидентское — не диссидентское. Вот она тоже представляла этику. Но мы были на кафедре исторического материализма, заведовал ею Чесноков Дмитрий Иванович. Была хорошая, большая, сильная кафедра, там был Момждян, там была Андреева Галина Михайловна, там был Козлов Дмитрий Федорович, какое-то время, как раз когда я писал диссертацию, был Косолапов Ричард Иванович, он как раз был рецензентом по моей диссертации на кафедре, когда я ее представлял, он ее рецензировал.

О.З.: А руководитель был кто?

А.Г.: У меня руководителем был Спиркин Александр Георгиевич. Первоначально был Казаринов, и я, в принципе, не имел ничего против Казаринова, но потом так получилось, что все-таки я решил поменять. Это было довольно быстро, по окончании первого курса.

О.З.: Аспирантуры первого года?

А.Г.: Да, первого года аспирантуры. И Александр Георгиевич, он был, конечно, совершенно замечательный руководитель. Он к этому времени выпустил книгу «Происхождение сознания» и говорит: «Вот у меня там есть глава «Происхождение нравственного сознания», ты возьми ее и разверни в диссертацию, вот тебе будет диссертация». А я когда начал заниматься, меня повело в другую сторону. Он-то рассматривал происхождение нравственного сознания как обычный, естественный процесс — появляется человек, появляется нравственное сознание, а как же по-другому, люди общаются. И потом насыщено это было определенным этнографическим материалом: люди трудятся — обычное такое представление. А я когда начал заниматься, у меня, в общем, по-другому стало складываться.

И я пришел к выводу, что нравственное сознание появляется не сразу с появлением человека, а на определенном этапе, и не труд является здесь источником и основанием этого, а нечто иное, а именно:

” дифференциация внутри первобытных объединений, когда люди в каком-то своем особом качестве начинают противостоять целому, когда внутри племени род возникает, когда внутри возникает разделение труда и т. д.

То есть по мере формирования и фиксирования отношений «общество — личность» и по мере напряжения, которое возникало в этих отношениях, формируется нравственность. И основной упрек, который делали, собственно говоря, из-за чего возникали какие-то проблемы, трудности, из-за чего даже однажды подвергли меня, совершенно неожиданно, публичной критике. Это было здесь, кстати сказать, в Институте философии, сектор этики осуществлял обсуждение, я уже точно не помню, у меня материалы где-то есть.

О.З.: Как вы вдруг попали сюда, почему именно на вас это было направлено?

А.Г.: Сейчас я скажу. Там Зыбковец делал доклад о каких-то проблемах, а тогда все доклады были об актуальных проблемах, обзор делался, и он подготовил тезисы. Я прихожу, как обычно, как аспирант, приглашали, тогда какие-то были отношения, из института нам спецкурс читали, Журавков, аспирантам, и Дробницкий, то есть это было нормально. А когда пришел, смотрю — в докладе в одном месте, в другом месте начинает Гусейнова ругать. А в это время вышла статья у меня в «Философских науках», она и стала поводом. А из-за чего? Из-за того, что отрицает трудовую теорию происхождения нравственности. (*Смеется.*) Вот основной был упрек. И потом был основной упрек — как же так, без нравственности. Ведь идея в чем была, один важный аргумент был, и книга Зыбковца на этом держалась, одна из книг его, что нравственность появляется сразу, а религия позже. Это принципиально. А если тут и нравственность появляется позже, то как-то это так. Хотя у меня в голове абсолютно не было никакой идеи, так сказать,

поставить под сомнение примат нравственности перед религией. Но тем не менее основной упрек шел по этой линии. И надо отдать должное Александру Георгиевичу: хотя я не последовал тому, что он рекомендовал просто развернуть шире его главу и в этом смысле продолжить его работу, он это воспринял хорошо, спокойно, и когда я ему принес диссертацию, он почитал: «Ну все, иди защищайся». Я говорю: «А замечания?» — «А что замечания? Они не выходят за пределы того, что может сказать оппонент и должен сказать оппонент». Вот до сих пор хорошо помню, мы с ним встречались в сквере перед... на Болотной площади. Он жил в начале Якиманки, и вот он: «Я люблю, — говорит, — вечером гулять, ты приходи». И вот мы с ним...

О.З.: К Москве-реке туда...

А.Г.: Да, вдоль канала. Вот там мы гуляли, он мне все это дело рассказывал.

О.З.: А кто же был оппонентом?

А.Г.: Оппонентами были Харчев и Титаренко. Вот эти два были по кандидатской.

О.З.: Интересно.

А.Г.: Да, конечно. Харчев — он меня с самого начала поддерживал, а Титаренко мне вообще предложил дать еще и кандидата исторических наук, философских и исторических. И написал в своем отзыве. Я его очень просил снять это. Он говорит: «Почему?» — «Вы понимаете, — говорю, — вы предложили дать кандидата исторических наук, но я предполагаю, что для кандидата исторических наук нужен еще какой-то состав совета, они пошлют еще куда-то на апробацию. Зачем мне это надо? Это только затянет, поэтому лучше дайте просто кандидата философских наук, а с исторических — это потом». — «Ну ладно, — говорит, — я писать не буду, но я все равно скажу». И в устном выступлении он говорил, ему как раз понравилась диссертация тем, что там был фактический материал. Я думаю, что этот фактический материал по своей точности, по технике обработки, по полноте является уязвимым, я в этом не сомневаюсь. Но сама идея — а идеи были неплохие, в частности, я попытался проследить историю собственных имен, полагая, что история собственных имен каким-то образом коррелирует с установлением нравственного сознания, и обнаружил, что собственное имя — это довольно позднее изобретение, что собственное имя совсем не было техническим, оно долгое время сопутствовало с прозвищем, собственное имя давалось в результате определенной процедуры и т. д., даже в тайне хранилось. Короче говоря, очень много интересных вещей. И точно так же была прослежена история кровной мести. И эти два более-менее полных фактических обзора, связанных с общей идеей, они и дали Титаренко основания вот так отзываться.

О.З.: То есть вы опирались в основном на этнографическую, историческую литературу, на филологические исследования какие-то.

А.Г.: У меня идея была простая: была у меня схема, которую я придумал, мне трудно сказать, откуда она. Если сказать в свернутом виде, она даже заложена в немецкой идеологии у Маркса с Энгельсом, где они говорят, что первоначально сознание отличалось от инстинкта тем, что инстинкт был осознан. И только потом сознание начало мыслить, что оно есть нечто помимо того, что оно есть осознанное бытие, и стало воображать, то есть стали обособляться эти формы общественного сознания; в каком-то смысле это даже там заложено, могло быть это источником. Но не важно, это была схема, и в порядке ее аргументирования рассматривалось первобытное стадо как некая стадия, потом родовое общество, но при этом те представления, которые я излагал, не совсем соответствовали тем представлениям, которые в то время в нашей специальной литературе господствовали, не знаю, господствуют они сейчас или нет, о зоологическом индивидуализме, о появлении общества как преодоления зоологического индивидуализма. Я считал и считаю, что это полная ерунда, зоологический индивидуализм, как говорят, через регулятивы и т. д. преодолеть было бы невозможно. У меня был совершенно другой взгляд. А именно, в силу каких-то причин, что наши предки оказались в такой ситуации, когда они могут выжить только именно как некое сплоченное и лишенное внутренних конфликтов и различий стадо. И только так они могли. У меня была такая [идея]: не то, чтобы изначально был зоологический индивидуализм,

который постепенно, через нравственность и всякие прочие вещи преодолевался и стал некоей общежительностью, а у меня было наоборот, что была некая изначальная слитность, которая потом, в ходе формирования социальности, расчленилась. У меня вот такая была схема. Совсем другая. Конечно, жалко, — это, в общем, связано со всем, что я делал, — жалко, что идея не была, может быть, достаточно профессионально и достаточно культурно обработана и выражена, то есть она не была обработана и выражена по всем, так сказать, канонам научности. Вот так бы я сказал. Но как идея, мне кажется, она интересна.

О.З.: Но представление о морали тогда было другое?

А.Г.: Я думаю, его вообще не было. А какое могло быть представление о морали? Конечно, если мы будем говорить, что в любых стаях есть своя мораль. Если мы такую некую порядочность отношений будем называть моралью, тогда да.

” Но если мы моралью называем нечто другое, если мы моралью называем нечто, что связано с некоторым сознательным выбором и волевым противостоянием, то есть нечто такое, что действительно выражает и фиксирует автономную свободу человека, что связано с его разумом, то какая там мораль?!

О.З.: Я-то имела в виду, что ваше понятие морали, то, которое было тогда у вас, как оно связано с сегодняшним?

А.Г.: Понимаете, мне трудно. Вот если, допустим, Рубен Грантович написал, как все у меня менялось, я думаю, он прав, и может быть, даже слишком был по отношению ко мне добр и снисходителен. Действительно, какие-то представления менялись, но я не отдаю себе в этом отчет. Я себе в этом отчета не отдаю.

О.З.: То есть конфликта между этими понятиями нет?

А.Г.: Нет, у меня внутренне нет. Допустим, я тогда думал так, потом по-другому, потом еще что-то, потом еще как-то, — у меня не было никогда, что последующее возникало как отрицание предыдущего. Трудно сказать, что это означает. Это может быть недостаток даже очень большой, это может быть просто особенность, мне трудно сказать, но это так. Это касается, я бы даже так сказал, не только предмета моих специальных занятий, того, как я, скажем, мораль понимаю, но это касается и моего отношения вообще к социальной реальности, оно же тоже меняется. Конечно, в том, как тогда я думал и как сейчас я думаю, наверное, различие большое, но мне кажется, при всем этом есть некая единая основа, и различие больше даже выражено к уровням понимания, уровням разработки. Все-таки со временем становишься более изощренным, более опытным, да и кругозор расширяется, это, конечно, имеет значение.

О.З.: Но, скажем, докторская ваша была «Социальная природа нравственности», да? А потом, уже, может быть, через какое-то время, появился мотив — хотя, конечно, никто не отрицает социальной природы нравственности, — но тот мотив, что социальность и моральность обратно пропорциональны друг другу.

А.Г.: Понимаете как дело. С социальной природой нравственности произошла такая вещь. Допустим, некоторые люди так истолковали, и в частности, я сам дал этому повод и ряд вещей, которые были с этим связаны, с книгой и диссертацией, что это классовая природа нравственности. Ничего подобного. И в самой диссертации «Социальная природа нравственности» имелась в виду общественная природа нравственности, что это именно общественный феномен, что это не индивидуальный феномен, это не природный феномен, и, скажем, большая глава в диссертации — это «Осмысление нравственности в контексте отношения с природой», почему — в связи с дискуссиями об экологии — и отношение к природе, оно тоже обусловлено отношениями между людьми. Потом, скажем, когда я писал статью в книгу «Формы общественного сознания», которая вышла в 86-м году, статью «Мораль», большая была

статья, и все отметили, что она зафиксировала какую-то другую позицию. Ведь я там тоже не отрицаю общественную природу морали, я там тоже говорю, что мораль имеет общественную природу, только в чем она состоит и как она обнаруживается — это есть общественная форма всех других отношений, что если мы из отношений людей вычтем все то, что предметно обусловлено, допустим, отношения, которые обусловлены потребностями образования, здоровья, материального благополучия... Мы вот вычли все предметно обусловленные отношения между людьми, — что между ними останется? Что останется между ними? Вот то, что останется между ними, и есть мораль, понимаете? Сознание важности самих этих отношений, сознание важности иметь людей, которые вступают друг с другом в отношения. Это, собственно, та же мысль, только она более аккуратно выражена, она более точно выражена. Скажем, вот мы даем слово, и люди надеются, что мы этому слову будем следовать, будем выполнять обещание. Почему? Значит, мы изначально дали слово держать слово. Точно так же изначально мы дали слово следовать долгу: если бы у нас этого не было, мы бы и не имели долга студента и всего прочего. И в этом смысле мораль есть общественная форма отношений между людьми. Вот так было сказано. Хорошо. Идем дальше. Когда я, допустим, говорю, уже стал делать акцент на это: способ индивидуально ответственного существования в мире — что это значит? Это значит, что я задаю этот мир, и задаю это общество, прежде всего общество задаю. То есть я так отношусь и задаю такие основания и перспективы своей деятельности, как если бы я благодаря этому создавал, если бы я оказался в положении человека, которому дано решать, какие поступки допустимы, какие нет, какими должны быть отношения между людьми и т. д. А как иначе-то? В этом смысле...

О.З.: Вот недавно, например, вы говорили, что для этики, один из признаков существенных моментов этического начала философии заключается в задании некоторой второй реальности, да? Когда речь пошла об индивидуально ответственном поступке, наверное, тут очевиднее это задание происходит.

А.Г.: Может быть. Уже когда мы говорим, что мораль есть общественная форма всех отношений, или была где-то другая формулировка — что мораль очерчивает само пространство человечности, то есть очерчивает круг, внутри которого вообще могут быть человеческие отношения. А тот факт, что в этике есть такое понимание морали, и в самой морали заложен некий вектор, который выводит в какую-то другую реальность, это верно, но это уже не моральная реальность, это уже не то, что сверху, а как вот: «Бог не заблуждается, заблуждается ученый», — понимаете? Но ученый-то ведь движется по вектору истины, правильно? По вектору, так сказать, знания, которое свободно от заблуждения. Точно так же мораль — это противоположность добра и зла, борьба добра и зла, но добро и зло, они неравно масштабны, правильно? Все-таки мораль — это о том, как быть добрым, движение по вектору добра, а раз так, то должна быть какая-то перспектива, где мыслится его торжество, так скажем. То есть сама идея роста, развития, совершенствования человека, основополагающая для морали идея, она предполагает скачок в другую реальность.

О.З.: Вот такой вопрос у меня еще. Много вопросов, но вот еще один такой вопрос. Ваше отношение с философией, не хочется говорить, рефлексия или что-то такое, но понятно, что это очень значимое занятие жизни. Как-то менялось у вас понимание того, чем вы занимаетесь?

А.Г.: Наверное менялось, да.

” Отношения с философией — мало что я могу так точно выразить, а вот отношения с философией я могу точно выразить. Это неразделенная любовь, односторонняя любовь. Я ее люблю, а она как-то могла бы быть более внимательна ко мне.

О.З.: Но тем не менее вы от нее получаете какое-то удовольствие?

А.Г.: Конечно. В случае неразделенной любви любящий получает, может быть, еще больше удовольствия, чем когда эта любовь ответная. Но все-таки оно другого рода. *(Смеется.)*

О.З.: Тогда более примитивный вопрос. Сам способ обращения с проблемами, с понятиями, он не менялся у вас, как вы думаете?

А.Г.: Я не знаю, я думаю, менялся. Но отвечая на вопрос о том, есть ли во мне какая-то особая философская одаренность, я бы не осмелился сказать, что есть. Потому что, если только есть разные формы этой одаренности, мне кажется, у меня есть способность схватить идею, понять, мне кажется, даже есть способность каким-то образом выразить. Но я бы не сказал, что во мне есть такая способность, которая воплощается в адекватной технике мысли. Вот есть люди, которые работают на таком уровне абстракции, когда они непосредственную связь с реальностью просто потеряли, просто идет работа именно с абстракциями, понятиями, они внутри себя движутся, взаимодействуют, и это, на самом деле, не лишено смысла. У меня этого нет. Я все-таки, мне кажется, не отвлекаюсь, мне труднее отвлечься от образности, наглядности, от прямой апелляции к реальности. А плести собственную нить философскую, вот эти кружева, — нет. Во всяком случае, я знаю много моих коллег, которые это делают намного лучше, чем я. Даже когда речь идет о языке, я предпочитаю пользоваться больше естественным языком, даже понятия привычные: субстанция, бытие, атрибут, модус и все такое прочее, все это в моих текстах или вообще отсутствует, или в каком-то минимальном размере. Вот так я бы сказал.

” **А вообще-то, я никогда себя не заставляю, допустим, взять философскую книгу, наоборот, все время не хватает досуга, времени. С огромным удовольствием, то есть это для меня не просто занятие, это больше чем занятие.**

Когда нечего делать, я всегда знаю, что надо делать. *(Смеется.)*

Преподавательская работа. Стажировка в ГДР

О.З.: Мы как-то ушли от биографической логики, что, может, в общем-то, и хорошо. Но вот вы защитили диссертацию и пошли на кафедру, о которой, мне кажется, у вас самые лучшие воспоминания.

А.Г.: Дело в том, что как-то так получалось. Сперва Молодцов написал: зачислить профессором на такую-то кафедру на факультете, я даже не помню, как получилось — на кафедру философии гуманитарных факультетов.

О.З.: Это после кандидатской?

А.Г.: Да, я защитил кандидатскую в ноябре, в срок, так скажем. Я поступил в ноябре 61-го года и в ноябре 64-го или конце октября 64-го года я защитил кандидатскую диссертацию. И с января 65-го года я был зачислен старшим преподавателем, сперва ассистентом старшего преподавателя, а потом, с сентября, старшим преподавателем кафедры философии гуманитарных факультетов. И стал преподавать философию, первоначально на вечернем отделении юридического факультета, полгода, а начиная с сентября 65-го года и по сентябрь 70-го года я преподавал философию, полный курс, на факультете журналистики. Читал им курс диалектического материализма и курс исторического материализма и вел семинарские занятия.

” **Это был огромный курс, порядка двухсот двадцати пяти человек, и все группы я у них вел. Это было начало моей самостоятельной работы, и во-первых, я получил совершенно самостоятельный участок: дерзкие эти ребята, совершенно отвязные журналисты, и каждый раз я выходил как на битву к ним.**

Никакого контроля, за все время один раз ко мне пришел заведующий Дмитрий Модестович Угринович, послушал, какие-то замечания сделал, что какое-то слово не так сказал, еще что-то, потом взял, порвал все свои записки при мне и говорит: «Работай». Так я понял, что все будет нормально. И кафедра приняла меня совершенно замечательно. Помню, они пошли утверждать меня старшим преподавателем, а проректор, Мохов, им говорит: «Да какой старший преподаватель, у него ведь ни дня работы нет!» И пришли они, Матвей Яковлевич Ковальзон говорит: «Да мы тебя хоть профессором, понимаешь, вот они там, эти бюрократы...» Ну и договорились, что поначалу ассистентом и потом, с сентября, уже старшим. Они меня сразу, через год, избрали секретарем партбюро кафедры, потом сделали заместителем заведующего. То есть, в общем, там были замечательные преподаватели, доценты, профессора, Калацкий Владимир Петрович, вообще замечательный человек, и который огромную роль сыграл в нашей философской жизни, на философском факультете, но был скромный, почти не писал ничего.

О.З.: Роль в чем выражалась, что вы имеете в виду?



1970 г.

А.Г.: У него были очень оригинальные и точные суждения о философии, очень ясные позиции, понимание философских проблем, которое было свободно от навязанных клишированных форм. Ну, другие, сам заведующий, Угринович Дмитрий Модестович, и потом вся атмосфера на кафедре, она открытая была. Я помню, на кафедру очень много людей приходили, выступали, шли дискуссии. Трудно даже при желании нарисовать более свободную, доброжелательную атмосферу. Но при этом доброжелательную атмосферу, которая вся завязана на совершенно серьезном отношении к делу, то есть именно на том, чтобы

преподавание философии было таким. Ну, например, я помню, где-то у меня есть, на первом или на втором году обучения я запустил среди всех моих студентов анкету, социологическую анкету, очень большую, подробную анкету, где они должны были оценить меня как лектора по всем параметрам: «мешает ли им то, что я пользуюсь записями», «как они относятся к дикции», «к уровню требований», я сейчас все не помню. Но это была большая социологическая анкета, кстати, запустить которую было тоже непросто. В том смысле, что я предупредил заведующего, а он не нашел ничего лучше, чем с ректоратом посоветоваться, те в свою очередь — тоже кукситься. Я тогда сказал: «Ну хорошо, я не придаю этому никакого значения, ни для кого эти результаты не будут, я раздам, я соберу, и сам для себя — какое-то у меня будет отношение». То есть это как показатель отношения, хотелось делать свою работу хорошо, хотелось, чтобы какой-то отклик, отзыв был у студентов. И я считаю, что эти пять лет моей работы, они мне и в смысле философского развития помогли, потому что там я должен был читать восемнадцать лекций по диамату и шестнадцать лекций по истмату, и надо же было все их освоить, а что значит освоить? Это же проблематика — бытие, познание, законы диалектики, а если по истмату — там личность, прогресс. То есть довольно широкий круг проблем, и это, конечно, помогло в чем-то, в чем-то, может, помешало. Потом, когда кафедра отделилась, этики от кафедры эстетики, образовалась самостоятельная кафедра, и стал заведовать Анисимов, я пошел на эту кафедру. Он до этого несколько раз приходил, разговаривал, уговаривал, чтобы пойти туда. И я потом уже, с 71-го года... Осенью 70-го года я уехал в ГДР на научную стажировку, перешел на кафедру этики на философский факультет, уехал на стажировку еще по моей старой кафедре и потом уже с осени 71-го года стал работать на философском факультете на кафедре этики, до 87-го года, шестнадцать лет.

О.З.: А немецкий вы учили, когда студентом были?

А.Г.: Да, я учил немецкий, когда был студентом. Но как сказать, я не был успешен в изучении языка. А потом, когда я поехал на стажировку, с ноября 70-го года по июнь или июль 71-го года, там я уже изучал немецкий, но не фактом своего пребывания, а я разработал специальную программу. Во-первых, я пошел не на один, а на два курса немецкого, очень тщательно с преподавателем, потом поменялся с немецким студентом, его на свое место в хорошее общежитие, а я — к нему, там было пять человек, туда поселился.

О.З.: Чтобы жить среди немцев.

А.Г.: Конечно. Потом кино, телевидение и т. д. То есть я разработал специальную программу, я так решил, что я на стажировке, в смысле теории особенно ничего — там приобретать нечего, я две вещи: с одной стороны, язык более-менее изучил, а с другой — привез Золотое правило нравственности. В этом смысле считаю, что стажировка была не напрасной. При всем том, что стажировка, как и вообще вся студенческая и аспирантская жизнь, протекала полноценно, со всеми дружескими встречами, застольями.

О.З.: А когда вы вернулись, вы начали читать курс этики или спецкурс?

А.Г.: А когда вернулся, это уже было обговорено, что я начну читать спецкурс по истории этики, и потом, я уже не помню, когда я подключился к общему курсу, но к общему курсу я подключился тоже какой-то частью вступительной. Общий курс я, вообще-то говоря, пока преподавал на кафедре этики, никогда не читал. Я общий курс прочитал один раз весь на философском факультете, уже потом, когда из института с должности замдиректора туда вернулся заведовать кафедрой. Это был какой год? Вот Алексей Скворцов слушал этот курс, он учился, можно у него узнать.

О.З.: И что представлял из себя факультет, когда вы уже на кафедре этики пришли, вернулись на нее в другом качестве, в качестве преподавателя?

А.Г.: Я дважды возвращался на факультет, уже на моей памяти в трех разных местах, я возвращался дважды. Один раз после пятилетнего перерыва в 87-м году.

О.З.: С кафедры гуманитарного факультета вы перешли на этику?

А.Г.: Да, и второй раз — когда я ушел в институт в 87-м году и практически перестал преподавать в МГУ, а в 96-м году вернулся снова, заведующим кафедрой. И оба раза я заставлял факультет уже более сложным,

более разветвленным, более бюрократичным. Вот в этом направлении он развивался, и оба раза я помню эти свои впечатления. А так, в целом, все-таки это был состав, который я хорошо знал, меня знали как студента, аспиранта. В общем, это не была чужая среда, это была более-менее родная среда, и в этом смысле проблем не было. Ведь жизнь на факультете была устроена так, и вообще в целом в университете: раз ты работаешь на кафедре, уже от тебя зависело, что ты преподаешь, как ты преподаешь, уровень, качество определялись мерой твоей добросовестности, мерой знаний. И в этом смысле, может быть, это исключительно ситуация Московского университета, но там эта ситуация была оптимальной. Нельзя сказать, что бюрократическое вмешательство в учебный процесс было минимально, оно просто отсутствовало. То есть, конечно, какие-то рамки задавались. Чем они задавались? Они, если взять диамат, истмат, задавались четкой программой — внутри которой, когда преподаешь, ты свободный. Ну, например, в рамках диамата, я до сих пор хорошо помню, я прочитал несколько лекций по Ницше и по Шопенгауэру.

О.З.: Как они туда попали? *(Смеется.)*

А.Г.: Вот я их прочитал. Не знаю, предшественники, критика, — они туда попали. Я пришел, сразу освоить весь курс — это невозможно. Я что сделал? Первый год я читал «Предмет диамата и материю и формы ее существования». Вот это весь год я читал — только это. Второй год, весь год, я читал только теорию познания. Третий год я читал весь год диалектику, категории, законы. То есть вот так, частями осваивал. Почему я читал? Потому что надо было освоить. А освоить — там же материала много, даже не столько трудно его вбить в более короткий вариант, сколько ты еще не готов другие читать. Точно так же я истмат осваивал. То есть в этом смысле это было чисто методически, может быть, неправильно, но лекции я так читал. Семинары я вел как положено. И на кафедре этики была, конечно, программа, худо-бедно она задавалась, но она в основном задавалась самой кафедрой. Хотя принималась министерством, она отсюда шла. И это было ограничение. И общее ограничение — что да, мы все марксисты, такая вот общая ситуация. А конкретно — что, как ты читаешь... Достаточно посмотреть, какие у нас писали курсовые работы — да кому что в голову придет. Вот у меня Шохин писал диплом по Ганди. Или, допустим, Султанов писал по мутазилитам. А этот писал по этике Руссо, Назаров, скажем. То есть в этом смысле атмосфера для преподавания была совершенно свободной и раскованной. Конечно, это имело и свои недостатки, потому что позволяло — если кто хотел халтурить, — и халтурить, а если кто имел сознание профессионального достоинства, он работал. И в целом даже были периоды, когда боролись... Был конфликт, когда выбирали декана, 73—74-й год, я уже был на факультете и тоже был втянут в эту ситуацию, но это тоже никак не сказалось на отношении. И вообще, я должен сказать, что мне везло на отношения, ситуации, нет ничего трагического, драматического в биографии.

О.З.: Но вот вы пришли на кафедру, и мне кажется, что это как раз был период, начало 70-х годов, до 75—76-го года, начало какого-то взлета, то есть вышло сразу несколько книг монографических. 74-й год, прямо такой почему-то очень концентрированный. Хотя книги пишутся, конечно, раньше, чем они выходят, но, видимо, была какая-то ситуация мыслительной энергии или, может быть, дискуссий. Особых дискуссий не было в это время?

А.Г.: Нет. Дело в том, что какие-то дискуссии в рамках этики шли с самого начала, как была учреждена этика как самостоятельная вузовская дисциплина. Первоначально раскачивались, какие-то учебники, а потом уже начались, я помню, первая конференция в Тамбове, большая по этике конференция, где было открытое противостояние между такими, скажем, догматически-консервативными силами, для подкрепления которых специально приехал директор Института философии Константинов, и молодыми «бычками», которые уже начали...

О.З.: Кто были эти «бычки»?

А.Г.: Там было много, но основная доминанта группировалась вокруг сборника, который вышел — «Актуальные проблемы марксистской этики». Это группа грузинская, Бандзеладзе, это Егидес, это Мильнер-Иринин, которого не пустили на конференцию, и поднялся скандал: один из лучших этиков, его нет на конференции, срочно ему давайте телеграмму, пусть он приедет. И мы, конечно, молодые,

начинающие, тоже поддерживали эту линию. Это была общая ситуация идейного напряжения.

” А напряжение было именно вокруг этих проблем: в какой мере мораль является феноменом общекультурным, общечеловеческим, можно ли ее свести к классовым определениям. Вокруг этого шла полемика, и она развивалась, можно воспроизвести разные этапы.

Я вот приводил пример: надо же додуматься — аспирант выпустил статью в целях защиты в 63-м году, и вдруг на большом, огромном собрании, совещании, семинаре, который собирает Институт философии, собирает со всей Москвы, начинают его подвергать критике за отступление. Это уму непостижимо.

О.З.: Это очень серьезное отношение.

А.Г.: Да, серьезное отношение. И в этом смысле такая полемика внутренняя все время шла, и так получилось, что в 74-м году появилась куча книг, обобщающих, теоретических, по этике. Это могла быть совокупность обстоятельств, и в целом случайных: [книги] долго пишутся, люди более-менее сопоставимого возраста и т. д. Но то, что вопрос сводился к пониманию морали, было неслучайно. Ведь надо было найти ее место в обществе и системе человеческих целей. И само обращение к этике, из-за чего появились кафедры этики, это все было связано с тем, что в программе партии появился «Моральный кодекс строителя коммунизма». Ведь задача состояла в том, чтобы освободить общественную жизнь от жесткого политико-идеологического диктата, когда все рассматривалось сквозь призму классовой борьбы, «враг народа» или «не враг народа». Понимаете? К любому событию, факту бытовому подходили именно на таком уровне. Надо было освободить. Также в плане международных отношений нужно было найти язык, на котором от конфронтации можно было перейти к разговору в рамках мирного существования, то есть нужен был язык для этого разговора, общегуманитарный язык, а где его взять? Как только ты обращаешься, ты попадаешь в лоно этики: справедливость, гуманизм, личность, свобода. Вот и было инспирировано, если хотите, в рамках партийных документов, что должна быть этика, моральные критерии, что нельзя все сводить к идеологической борьбе, к классовым противостояниям: и в этом направлении как раз и нужно было. И собственно говоря, почему так получилось, что, допустим, я оказался втянут в этот процесс, когда привез Золотое правило нравственности? Потом еще у Маркса его нашли. Это действительно правило, которое говорит, что нравственность является универсальным основанием культуры и что она, может быть, не так, как язык или наука, но и не как политическая власть связана с классами. Она, может быть, и не находится вне этого, но и не сводится к этому. Вот вокруг этого и шло. А непосредственно речь шла о том, чтобы определить и в рамках учебного процесса, и в рамках общей классификации наук, место морали и этики, в отличие от близлежащих: от права, от религии, от искусства. Это было — такая сосредоточенность на определении морали, на ее специфике, на своеобразии ее функций — мне кажется, это было в целом плодотворно. Во всяком случае, именно наиболее — не знаю, как их назвать, — творческие, продуктивные силы были в это втянуты. Так скажем.

О.З.: На кафедре этики. Ну и Дробницкий в институте.

А.Г.: Дробницкий. Да, я помню, последняя когда встреча, Дробницкий пришел на кафедру, по-моему в 73-м, незадолго, кстати, перед его гибелью, он пришел, чтобы взять отзыв на свою работу у Титаренко, у них возник какой-то конфликт, Титаренко писал отзыв, замечания.

О.З.: На «Понятие морали»?

А.Г.: Да, на «Понятие морали». Она уже в 74-м году вышла. Через год после его гибели. Я помню, последняя такая фраза на кафедре, он говорит: «Вы, Салам Керимович, тоже, я слышал, совершили грехопадение». Я говорю: «Что вы имеете в виду?» — «Ну а как же, какое грехопадение у этика? Оно только одно: когда он начинает думать, что такое мораль» (*смеется*). А я в это время тоже запланировал книгу «Социальная природа нравственности», вот он и говорит. Вот это была последняя встреча с ним, с Олегом

Григорьевичем. Потом я увидел, что у него в этой книге, «Понятие морали», в библиографии есть сноска на мою статью «Золотое правило нравственности».

О.З.: То есть он успел...

А.Г.: Он знал, почему же? «Золотое правило нравственности», эта статья вышла, 72-й, что ли, год. Просто на саму статью он обратил внимание — что она в русле того, что он пишет.